

## О ПУШКИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Наперерыв вся Россия думает, как еще и еще увенчать своего Пушкина. Италия, страна художеств, давала капитолийское венчание избранникам; смотря на всероссийские сборы к торжеству столетия рождения великого поэта, невольно приходит на ум, что Россия впервые дает избраннику ума и муз что-то похожее на это капитолийское венчание. Ко дню этому готовятся целые города. В газетах появляется известие, что вот «такой-то город» «так-то думает отпраздновать юбилей». И, главное, нет инициатора этих приготовлений; даже нет никого главного в них; нет руководителя. Готовится *Россия*, готовятся все, и все делается *само собою*. Это самая замечательная сторона в плетении венка, самая симпатичная.

Да будет позволено сказать два слова об одном особенном увековечении памяти поэта, которое нам приходит на ум.

Если что не идет к Пушкину, то это стих Лермонтова о себе:

Я знал *одной* лишь думы власть,  
*Одну*, но пламенную, страсть...

Напротив, Пушкина можно определять лишь отрицательно, т. е. отвечая «нет!», «нет!» и «нет!» — на попытку указать в нем *одну* господствующую думу, или — постоянно *одно и то же*, нерассеиваемое, настроение. Монотонность совершенно исключена из его гения; выражимся в терминах, особенно понятных: ему чужда монотонность, и, может быть, чужд в идейном смысле, в поэтическом смысле — монотеизм. Он — *все-божник*, т. е. идеал его дрожал на каждом листочке Божьего творения; в каждом лице человеческом, поискав, он мог или, по крайней

мере, готов был его найти. Вся его жизнь и была таким-то собиранием этих идеалов — прогулкою в Саду Божием, где он указывал человечеству: «А вот *еще* что можно любить!»... «или — вот это!...». «Но оглянитесь, разве *тоб* — хуже?!..» Никто не оспорит, что в этом его суть. Чувства гневливости почти отсутствуют в нем. В этом отношении замечателен один отрывок, посмертно найденный в его бумагах; он в нем отвечал на упреки друзей, отчасти и на недоумение врагов, отчего он не отвечал ничего на жестокие критические приговоры, какие ему случалось читать о себе? Оправдание его вполне серьезно и почти пунктуально, но оканчивается припискою, которая в сущности зачеркивает все пункты: «Никогда не мог преодолеть в себе *смертной скучи* подобного ответа». Не буквально, но смысл этот, и он отвечает всему, что мы знаем о поэте. Однако не только поверхностно, но и плоско было бы думать о нем, что он страдал и, так сказать, тонул в какой-то любвеобильности, в вечном пылании положительными чувствами. Эта бенедиктовщина души также была совершенно исключена из его настроения. Нет,— он был серьезен, был вдумчив; ходя в Саду Божием,— он не издал ни одного «аха», но как бы вторично, в уме и поэтическом даре, он насаждал его, повторял дело Божиих рук... Но уже выходили не вещи, а идеи о вещах,— не цветок, но песня о цветке, однако покрывающая глубиною и красотою всю полноту его сложного строения. Так получился «Пушкин», эти «семь томов» обильно комментируемых созданий, где мы находим своеобразный и замкнутый, совершенно закругленный «мир» как «космос», как «украшенное Божие творение». Можно Пушкиным питаться и можно им одним пропитаться всю жизнь. Попробуйте жить Гоголем, попробуйте жить Лермонтовым: вы будете задушены их (сердечным и умственным) монотеизмом... Через немного времени вы почувствуете ужасную удушаемость себя, как в комнате с закрытыми окнами и насыщенной ароматом сильно пахнущих цветов, и броситесь к двери с криком: «простора!» «воздуха!...» У Пушкина — все двери открыты, да и нет дверей, потому что нет стен, нет самой комнаты: это — в точности сад, где вы не устаете.

Конечно, Россия никогда не станет «живь Пушкиним», как греки, не остановившись на Гомере, перешли к Пиндару, Софоклу; перешли к Аристофану. Но тут не недостаточность поэта, а потребность движения. В этом движении — потребность, между прочим, подышать и атмосферой *исключительных настроений*. «Мертвые души» и «Мцыри» — почти современны

Пушкину, и замечательно, что из сада его поэзии Россия так быстро заглянула в эти два исключительные и фантастические кабинета. Вернемся к Пушкину. «Циклос», «круг» его созданий сам по себе, без отношения к историческому народному движению, вполне способен насытить человека и дать ему прожить собою всю жизнь. Скажем более: если Россия в некоторых исключительных своих душах, составляющих нить исторического вперед ее движения, конечно, вечно будет обогащаться исключительностями,— будет искать ударных форм разного в веках, но единичного порознь и в каждую минуту, поэтического и философского монотеизма,— то в заурядных своих частях, которые трудятся, у коих есть практика жизни и теория не стала жизнью, она спокойно и до конца может питаться и жить одним Пушкиным. Т. е. Пушкин может быть таким же духовным родителем для России, как для Греции был — до самого ее конца — Гомер. Вы ищете сказки — он дает вам сказку; вы ищете светской шалости — вот она:

Отдай любви  
Младые лета,  
И в шуме света  
Люби, Адель,  
Мою свирель.

На каждую вашу нужду, и в каждый миг, когда вы захотели бы сорвать цветок и закрепить им память дорогого мгновения, заложить ее в дорогую страницу книги своей жизни — он подает вам цветок-стихотворение. И это не только относительно беспечальных мгновений, но и самых печальных, леденящих душу:

Итак — хвала тебе, Чума!  
Нам не страшна могилы тьма,  
Нас не смутит твое призванье!  
Бокалы пеним дружно мы,  
И Девы-Розы пьем дыханье,  
Быть может — полное чумы.

И сейчас — какая перемена тона:

— •Безбожный пир! Безбожные безумцы!•

По этому-то богатству тонов, которые не исчерпаны ни обществом нашим, ни литературою, и в себе самих даже неисчерпаемы — «дондже умрем» — мы и сказали, что Пушкин способен пропитать Россию до могилы не в исключительных ее натурах.

Что же это значит? Откуда это богатство? Что это за особый строй души? Критика русская давно (еще с Белинского) его определила термином — «художественность». Художник есть тот, кто, может быть, и заражает, но ранее — сам заражается; в отличие от пророка, который только заражает, но — если позволительно перенесение узкого медицинского термина — заражается только Богом; им слушаем, ему — *Он* открыт. «И небеса отверзты» — пророку: а художнику вечно открыта только земля, и, как это было с Пушкиным,— ему открыта бывает иногда *вся земля*. Не будем обманываться, что у Пушкина есть «Пророк»; это страница сирийской истории, сирийской пустыни, которую он отразил в прозрачном лоне своей души, как отразились в нем и страницы Аль-Корана:

О, жены чистые Пророка!..  
От всех вы жен отличены:  
Страшна для вас и тень порока.  
Под сладкой тенью тишины  
Живите скромно: вам пристало  
Безбрачной девы покрывало.  
Храните верные сердца.  
Для нег законных и стыдливых:  
Да взор лукавый нечестивых  
Не узрит вашего лица.  
А вы, о гости Магомета,  
Стекаясь к вечери его,  
Брегитесь суетами света  
Смутить пророка моего.  
В паренъи дум благочестивых  
Не любит он велеречивых  
И слов нескромных и пустых...  
Почтите пир его смиренем  
И целомудренным склонением  
Его невольниц молодых.

И рядом с этой мусульманской рапсодией — дивный православный канон:

Отцы-пустынники и жены непорочны,  
Чтоб сердцем улетать во области заочных,  
Чтоб укреплять его средь дальних бурь и битв,  
Сложили множество божественных молитв...  
Но ни одна из них меня не умиляет,  
Как та, которую священник повторяет  
Во дни печальные великого поста.  
Всех чаще мне она приходит на уста —  
И падшего свежит неведомою силой:  
•Владыка дней моих! дух праздности унылой,  
Любоначалия, змеи сокрытой сей,  
И празднословия,— не дай душе моей!

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,  
Да брат мой от меня не примет осужденья,  
И дух смирения, терпения, любви  
И целомудрия — мне в сердце оживи».

Какая противоположность! Но один и другой тон равно серьезны. То есть истинно серьезное и оригинально серьезное в Пушкине было, так сказать, не звуки, которые он ловил, но ухо его. Есть знаменитое выражение, в Апокалипсисе и у Иезекииля, о небесных существах, «исполненных очей спереди и сзади, внутри и снаружи», т. е. существ — как ткани «очей», как полноты «очей». Всё «очи, очи и очи», и вот — все существо; может быть — тайна всякого существа, каждого из нас?.. Тайна эта разгадывается в великих людях. Что такое Рафаэль, как не какой-то всемирный Глаз, человек, ставший Глазом, оформившийся весь в это огромное и необозримое видение, в котором переливались и переплелись земные и небесные краски, земные и небесные тени, штрихи?.. Он все видит, и этим только видением он ограничен. Звуков он не слышит, не понимает; не понимает же мыслей, или очень ограниченно их понимает. И таков был Бетховен, столь же всемирное и такое же вековечное Ухо. Читатель простит, что я пишу нарицательные имена с большой буквы: до того очевидно, что нарицательное, т. е. общее свойство, стало собственным и личным и именуемым у этих людей. Пушкин был всемирное внимание, всемирная вдумчивость. Не только было бы напрасно искать у него одного господствующего тона, но совершенно очевидно, что этого тона и не было; что он пришел на землю не чтобы принести, но чтобы полюбить: полюбить эту прекрасную землю и, ничем исключительно новым не утолив ее богатств, — скорее вознести ее к небу, и уж если обогатить, то самое небо — земными предметами, земным содержанием, земными тонами. Чувство трансцендентного ему совершенно чуждо, в противоположность Гоголю, Лермонтову, из новых — Достоевскому и Толстому. Самая молитва, как приведенная: «Отицы-пустынники...» — у него всегда феномен, а не ноумен; поэтому рассеивается, а не стоит постоянно; и, в конце концов, —

Ревет ли зверь в лесу ночном,  
Поет ли дева за холмом,  
На всякий звук  
Родит он отзыв...

Преображенная земля, преобразуемая земля! Не падающие на землю зигзаги электричества, совсем нет! — но какое-то пресыщение изяществом всего, растущего с земли и из земли:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты

— это стихотворение к А. П. Керн, повторенное в отношении к тысяче предметов, и образует поэзию Пушкина, ценное у Пушкина, правду Пушкина.

Шли годы. Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты,  
И я забыл твой голос нежный,  
Твои небесные черты.

(из того же стихотворения)

И все также забывал Пушкин, и на этом забвении основывалась его сила; т. е. сила к новому и столь же правдивому восхищению перед совершенно противоположным! *Дар* вечно нового (перед своим прежним) в поэзии, именно необозримое в поэзии много-божие, много-обожение, как последствие свободы ума от заповеди монотеистической и немного монотонной, по крайней мере, в поэзии монотонной: «*Аз есмъ Бог твой... и не будут тебе ини бози...*» Ведь забывать,— это и для каждого из нас есть условие вновь узнавать; и мы даже не научились бы, ничему бы не научились, если б в секунду научения каким-то волшебством не забывали совершенно всего, кроме этого единичного, что в данную секунду познаем. Монотеисты-евреи так и не образовали никакой науки. У них не было и нет дара забвения.

\* \* \*

Но довольно о Пушкине и несколько слов — об его увенчании. Это — Академия Изыщных Искусств,— которую мы хотели бы, чтобы она наименовалась *Пушкинскою Академией*.

В самом деле, в России нет ее, России нужна она. И нет имени, нет памяти, нет гения, к кому она так приурочивалась бы, как к Пушкину. Пушкин — это земное изящество, это — универсальное изящество. И только. Но изящество, действительно возведенное к апофеозу,— отбежавшее от внешней красивости и приблизившееся к внутренней, к доброте и правде:

Подруга дней моих суровых,  
Голубка дряхлая моя!  
Одна в глухи лесов сосновых  
Давно, давно ты ждешь меня!  
Ты под окном своей светлицы  
Горюешь будто на часах,  
И медлят поминутно спицы  
В твоих наморщенных руках.

В самом деле, в одном отношении мы можем назвать Пушкина самым красивым во всемирной литературе поэтом, потому что красота у него сошла вглубь, пошла внутрь. Тут две тысячи лет нового углубления, христианского развития сердца, но пошедшего не специально в религию, а отраженно бросившего зарю на искусство. И в самом деле —

Голубка дряхлая моя

— о няне старой: почему это не есть Небесная Афродита, христианская Афродита, которую предчувствовал Платон, сумрачно говоря «нет! нет! нет!» по отношению к своим, к афинским, смазливым и ограниченным богам. Земные боги умерли; сошли небесные боги.

Академия Изящных Искусств,— в Петербурге ли или еще лучие в Царском Селе,— это питомник изящества и всяких изящных дисциплин, без всякого ограничения; питомник, в который войдя великий поэт повторил бы собственный стих:

...весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:  
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.  
Сколько богов, и богинь, и героев.

Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...  
Весело мне!

Мы воспользовались стихом, чтобы весело очертить радостную мысль собственным словом художника и, так сказать, ввести читателя в мир душевной его, поэта, радости, если б он вошел в питомник изящества, в самом деле над ним воздвигнутый мавзолеем. Кстати, в мастерской художника, средь Аполлонов и Ниобей, Пушкин вспомнил усопшего же:

...в толпе молчаливых кумиров  
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;  
В темной могиле почил художников друг и советник.  
Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!

Конечно, мы даже и отдаленно не разумеем здесь Школы Живописи или Ваяния в их изолированности, что все уже есть,— хотя, конечно, ничему не помешает параллелизм в них или к ним: Есть изящные вещи, но есть еще само изящество, коего и живопись, и ваяния суть только факультеты. И как помимо Медицинской Академии есть Университет,— так, может быть, и настоль же нужна около специальных художественных школ Академия Изящных Искусств: которая была бы столько же академией архитектуры, как и академией вокального совершенствования, музыкальных упражнений, равно чтений из

Магабараты и Рамаяны, и все прочее. На Западе давно есть наука искусства, история искусства; искусство вообще есть нечто разнородное с наукой, есть даже огромная поправка к науке, может быть — *другой мир*, великое ограничение разума и его претензий. Для наук — пусть недостаточно — но все же много у нас сделано. И если не ничего, то чрезвычайно мало сделано для искусств. Даже нельзя скоро найти и, может быть, даже вовсе нельзя найти в России места, куда приде можно было бы совершенно быть уверенным, что вот здесь *узнаешь о плодах работ Винкельмана или о результатах критики Лессинга*. «Критики»... Какая богатая область у нас, в нашей собственной истории и развитии! — но кафедры *истории русской критики*, или кафедры *истории критики всемирной*, или — *теории критики* нигде в России нет. Вот — для проектируемой нами Академии — ряд кафедр, которые достаточно назвать, чтобы почувствовать, как они нужны, как они уместны в России.

Наш театр... Разве он не пережил эпоху Оффенбаха, и разве ее допустила бы серьезная, доминирующая в стране школа, как именно Университет Изящного, с свободным карающим бичом в руке? Какова роль Шекспира на нашем театре? Что мы успеваем сделать для народного театра? Вы видите, что не только кафедры на этот зов, на эту мысль бегут, но и бегут темы, т. е. *нужды дня*, и, сбегаясь на улице, так сказать, роют уже фундамент нового здания, на фронтоне которого были бы

И мраморные циркули и лиры,  
И свитки — в мраморных руках.

И наряду с нею, этою воспоминаемою красотою,—  
...арфа серафима,

который умел внимать  
В священном ужасе поэт.

Академия Изящных Искусств непременно стала бы авторитетом изящества, критиком в изящном. И когда все виды красоты так глубоко падают теперь и Афродита уличная решительно не дает прохода добрым людям, даже обывателям, сторонним искусству, — право же, в такое время не лишне два раза «отмерять» прежде, чем решительно и строго отказать на просьбу «о неуместной затее»...

Да встретит слово это добрую минуту...